

К

огда поезд пришел в Москву и начинавшие его люди стали понемногу выдавливать друг друга из этой железной оболочки, в одном из купе III класса произошла заминка.

— Ну и что делать-то с ней, батюшки мои! — вздохнула дородная молодка в распахнутом полушубке, оправляя на голове красный платок и кивая куда-то в сторону лавки напротив.

— Ах ты, Господи! — вздохнула маленькая старушка рядом, обмотанная в какое-то невозможное тряпье. — И что ныне делается? Не иначе верно говорят: последние времена...

— Ладно, бабка, не заводи, — перебил ее бойкий мужичок, сидевший всочь, — слышали уж про последние времена. А вот что с ней делать, и точно — ума не приложу... *Так*, может, оставить? Пущай катается!..

И он самодовольно хохотнул.

— Что ты! — воскликнула молодка испуганно и даже махнула на мужичка полной рукой. — Человек, чай, не собака... Да и по всему видать — барыня. Нельзя так оставлять — нехорошо. Что же, ежели ума решилась, так и пропадать? Не по-божески это.

— Ах ты, Господи... — опять вздохнула старушка в тряпье.

— Барыня! — передразнил молодку мужичок. — Ныне все барыни ума решились. Все от ненависти к народу да от жадности за добро свое...

Тут все заговорили разом, и разобрать что-то стало сложно. Слышались только в общем гвалте слова «кровь», «народ», «хребет», потом, кажется, заговорили про больницу и «желтый дом». Потом кто-то предложил позвать полицию, на что сразу несколько голосов, перекрикивавших друг друга, основательно заметили: «Какая теперь полиция!» И только старушка все вздыхала и повторяла: «Ах ты, Господи!..»

Со стороны могло показаться, что вся эта компания — человек десять — никак не может расстаться после стольких часов, проведенных вместе в дороге. Но если бы сторонний наблюдатель догадался заглянуть под лавку, на которой сидел мужичок, он бы понял, в чем дело. Под лавкой, свернувшись как кошка, лежала молодая, красивая, хорошо одетая женщина. И, судя по всему, действительно барыня, как выразилась молодка. На барыне этой была черная коротенькая шубка, наглухо запахнутая или застегнутая; юбка или платье из тонкой шерсти; высокие шнурованные ботинки; и только на голове — какой-то странный, никем не виданный картузик. Под головой у нее лежал ридикуль, и смотрела она из-под скамьи, вытаращив глаза, блестящие, к тому же, необычайно ярко.

Неизвестно, чем бы закончился этот народный сход, если бы в вагоне вдруг не появились солдаты с винтовками и красными повязкам на руках, и один из солдат не спросил:

— В чем дело, граждане?

В ответ граждане оживились и заговорили одновременно, показывая пальцами под лавку. Даже старушка выпростала из тряпья скрюченный палец и ткнула им по направлению расположившейся под лавкой «барыни». Задававший вопрос солдат скинул с плеча винтовку и, сжав ее в правой руке, на которой бросалось в глаза отсутствие мизинца, оперся на винтовку как на посох, присел на корточки и заглянул под лавку. Тут он присвистнул, пошевелил бровями, после чего выпрямился и, перекрывая неумолкавший гул, прогрохотал:

— А ну-ка, граждане, помолчим!

И когда гул немного стих, он обвел присутствующих веселыми, прищуренными карими глазами и, кивком указывая на молодку, сказал:

— Вот ты и Расскажи.

Молодка, польщенная доверием и вниманием власти, заерзала, снова оправила красный платок и звонко, задористо сказала:

— А че рассказывать-то?.. Ну, едем мы, остановилась машина, эта — она кивнула на «барыню» — и заскочила. Как уж она там в вагон забиралась, не видала, врать не стану. А только что видим — бежит, продирается, как оглашенная, глаза выпучила... Тут ее не то толкнул кто, не то сама оскользнулась, а только вдруг посмотрела так страшно и шаст!.. Мешки раскидала, и под скамью. Мы и ахнуть не успели, как уж она из глаз вон. Сами все испужались, давай кричать, а поздно! Она уж улеглась, да из-под скамьи на нас смотрит. Хотели было вытащить, да видим — не в себе барыня, ну и оставили. Поесть, правда, давали. Хлебца там... молока вон я из бутылки в миску плесканула — не ест!

Тут она опять оправила платок и, не зная, что добавить к сказанному, сказала:

— Время-то какое...

Спрашивавший солдат кивнул, потом обвел взглядом купе и громко-гласно спросил:

— Так ли?

Все закивали, заголосили, каждый хотел добавить что-то от себя. Но солдату было достаточно услышанного. Он повернулся к своему спутнику и уже без грохота — нормальным, обычным своим голосом спросил:

— В госпиталь, что ли?

Спутник его с самым серьезным видом кивнул:

— Пусть там разбирают.

— А ну, граждане, разойдись! — снова прогрохотал первый.

И когда купе опустело, он присел на корточки, держась за упертую в пол винтовку, и весело проговорил, заглядывая под лавку:

— Вылазьте, ваше сиятельство. Пожалуйста на выход.

Из-под скамьи смотрели на него два огромных испуганных серых глаза.

* * *

Барыня из-под лавки была не кто иная, как Мария Павловна Горская — дворянка, помещица Вяземского уезда Смоленской губернии и московская домовладелица. В пору путешествия под лавкой вагона III класса поезда, идущего из Смоленска в Москву, Марии Павловне шел 38-й год. Она была еще очень хороша: маленькая, стройная как девушка-подросток, с огромными серыми глазами, где, как казалось всякому, заглянувшему в них, навеки поселилась мечта. Само собой разумеется, что странное свое путешествие Мария Павловна предприняла вовсе не из экономии средств или нежелания покупать билет. Дело было совсем в другом. Но поскольку объяснить происшедшее в двух словах отнюдь не представляется возможным, придется совершить небольшое путешествие в прошлое и поискать объяснение там.

Итак, Мария Павловна выросла в Москве, в Гагаринском переулке. Матушки своей Мария Павловна не помнила, их с братом вырастил отец — Павел Георгиевич Затеев. Но несмотря на раннюю смерть матери, Мария Павловна считала себя счастливой. В самом деле, какая была счастливая жизнь! Семья жила в собственном двухэтажном особняке. Особняк был старинный, с тяжелой дубовой дверью, с колоннадой, лепниной и принадлежал Павлу Георгиевичу. В те времена он был еще уездным предводителем, владел хорошеньким имением и там же, в уезде, двумя заводиками, винокуренным и кирпичным. В Москве, помимо того, числились за ним три дома, в одном из которых — самом поместительном — он и проживал со своей небольшой семьей. Когда же Мария Павловна вышла замуж за молодого архитектора Алексея Ивановича Горского, Павел Георгиевич настоял, чтобы молодые оставались в доме, поскольку места было предостаточно. Алексей Иванович сдался, и дети их тоже родились в Гагаринском переулке. С момента рождения первенца — Лики — Павла Георгиевича все стали называть «дедушкой». К этому времени он и впрямь был сухим, неулыбчивым стариком с выцветшими глазами навывкате, хотя еще крепким и замечательно высоким.

Больше всего дедушка не любил социалистов и разговоров о революции, а зятя своего считал вольнодумцем, поскольку тот неуважительно отзывался о Государе и утверждал, что он «не царствует, а бредет в неиз-

вещность?». Стоило дедушке возмутиться, как Алексей Иванович вздохнул и с грустным спокойствием отвечал:

— Поймите, Павел Георгиевич, мы все обречены. Наша Россия выросла из того сарафана, в котором сидит 300 лет, а шить для нее новый Государь не в состоянии. Но еще древние говорили: покорного судьба ведет, а непокорного тащит. Так не лучше ли покориться судьбе?..

Но тут дедушка начинал сердиться, сдвигались его кустистые брови, и широкая, высохшая как у мумии ладонь тяжело опускалась на стол.

— В моем доме не потерплю таких разговоров, — бухал дедушка, словно бы бросал об пол большой камень.

И разговор прекращался. При этом Алексей Иванович тоже хмурился и принимался выстукивать на столе какую-нибудь мелодию, например, «Сердце красавиц». А младший сын дедушки — Сергей Павлович, все-таки сбежавший однажды из отчего дома, являвшийся время от времени в гости и неизменно приносивший с собой шум, новости и терпкий запах хорошего одеколона, прятал в таких случаях улыбку и старался изо всех сил не расхохотаться. И если Алексей Иванович не хотел раздражать понапрасну тестя, то Сергею Павловичу как будто доставляло удовольствие дразнить отца рассказами о марксистских кружках по Москве, о программе большевиков и о том, что «царя скоро погонят».

Вслед за отцом и Мария Павловна обожала Государя с Государыней и всякий раз приходила в ужас, когда Сергей, пусть даже и в шутку, начинал грозить им. Но поскольку Сергей вообще не умел говорить иначе, как только смеясь, то в глубине души Мария Павловна верила, что разговоры о революции и о том, что выгонят царя — это только шутка. Да и как могло быть по-другому? Неужто от хорошей жизни? Ведь Россия — а в этом Мария Павловна была уверена — кормит Европу, и продуктов таких, как в России, нет нигде больше. И даже немец с Арбата, тот толстый немец-колбасник, у которого они покупают колбасу, сказал как-то после путешествия на родину своих предков:

— Нет, сударыня! Такой колбаса я мог делать только в России.

А какой хлеб они покупают у Филиппова! Эдакий хлеб Мария Павловна не видывала и в Париже. Так с чего же тут бунтовать? Зачем свергать Государя?

А уж Гагаринский переулок, точно бегущий за руки с Пречистенкой и Сивцевым Вражком в сторону Храма, и вовсе был каким-то сказочным царством. Кроме особняка с колоннами, где жили Затеевы и Горские, по улицам и переулкам красовались другие особняки — розовые, кремовые, голубые, с чугунными балкончиками, резными террасами, с башенками, эркерами и даже витражными окнами. Многие были окружены садами, откуда, смотря по времени года, доносило то липовым цветом, то хризантемами. Жизнь здесь протекала неспешно и основательно, и люди вокруг жили такие же — неспешные и основательные. Не торопились даже времена года, раскрываясь во всей полноте и точно позволяя людям насладиться каждым явлением. Весна сначала будоражила капелью, потом пускала ручьи — шумящие и блестящие. Потом дети бегали от сирени к жасмину, от вишни к липе и сравнивали — где почки шибче набухли и где самые липкие. Потом улицы и переулки медленно зеленели, переполняясь птичьими голосами. И вот, наконец, наступали соловьиные ночи. С этого времени Мария Павловна всегда уезжала в имение под Вязьмой, в Москву возвращаясь только по осени, хоть осень в Москве казалась Марии Павловне грустной. Ранняя осень с высоким и чистым небом, с

запахами последних цветов, с первой позолотой, лишь мазнувшей кое-где листву, была похожа на умирающую девушку. Молодость и красота ее зывали к Жизни, но на зов являлась Смерть — безразличная и неумолимая. Октябрьская осень — мокрая, грязная, темная — напоминала Марии Павловне старуху с растрепанными седыми космами, неопрятную и зловонную. Прекрасна была лишь поздняя осень — как выдержанное вино, как уверенная в себе красавица, чьи годы подарили ей мудрость, покой и умение наслаждаться созерцанием жизни. Холя, какие-то изысканные духи и совершенная невозмутимость выделяют ее в любом собрании... Так чувствовала Мария Павловна. Так за годом проходил год. Дети росли. И вот уже розовощекая, похожая на свежее яблоко Лика зачислена в Смольный институт, а худенький, бледный мечтательный, как и Мария Павловна, Мика — в Пажеский корпус, что было особенным счастьем для всей семьи. О зачислении Мики хлопотал другой дедушка — отец Алексея Ивановича, петербургский генерал и участник Крымской кампании. И если бы не связи генерала Горского, Мика никогда и ни за что не попал бы в Пажеский корпус.

Разъехавшись, дети стали писать домой письма. Мика — сдержанные и короткие, а Лика — пространные, с подробными описаниями всех спектаклей и выставок, куда девиц возили от Института. Возвращаясь летом домой, Лика привозила всем подарки, а еще непременно показывала красивые фантики от конфет с царского стола — ежегодно в дни рождений и тезоименитства царской семьи девиц отвозили в один из театров, где в ложе каждая получала по две коробки конфет. Причем одна коробка была послана Государем. Фантики из царской коробки, сохранявшие запах шоколада, Лика не выбрасывала, а возила за собой в особой шкатулке.

Как-то июньским вечером Лика постучала в комнату Марии Павловны и вбежала, сжимая в руках свою заветную шкатулку.

Первым делом она дернула правым плечом, откидывая за спину толстую темную косу, после чего забралась на кровать к Марии Павловне, поджала ноги и раскрыла принесенный ларец. Оттуда пахло шоколадом, а потревоженные фантики нежно зашелестели.

— Какой вам нравится лучше, маменька, — прошелестела и Лика, — такой и берите.

Мария Павловна выбрала голубой и поцеловала теплую дочкину щеку.

— Подумать только, — тихо сказала она, разглаживая бумажку, — кто-то из царской семьи прикасался к ним.

Потом они долго сидели так на кровати, перебирали фантики, и Лика шепотом рассказывала, в каком из них какая была завернута конфета и на каком спектакле была получена та или иная коробка. К имени Государя, оваянному шоколадно-музыкальным облаком, добавилась теплая майская струя из окна и длинная соловьиная трель.

— Ты любишь ли Государя? — чуть слышно спросила Мария Павловна, чувствуя, что где-то в груди у нее поднимается шар, легкий и шелковистый, как фантики из Ликиной коробки.

— Очень, мама! Очень люблю! — горячо зашептала Лика. — И Государыню-матушку люблю, и все семейство его...

Они еще крепче прижались друг к другу и вдруг обе — не то одновременно, не то одна за одной — бесшумно расплакались счастливыми горячими слезами, от которых на душе становилось спокойно и чисто.

А через несколько дней после той сладостной ночи отправились в де-

ревню, куда еще раньше отбыл дедушка. Он встречал их на станции какой-то встрепанный, напоминавший Марии Павловне подравшегося воробья. Даже волосы у него торчали как перья задиристой птицы. Пока они ехали по мягкой пыльной дороге от станции к деревне, дедушка неохотно поведал, что ведет настоящую войну с местными крестьянами, которые как начали волноваться в пятом году, так до сих пор все не успокоятся. То и дело к кому-то из них возвращалась мысль поделить барское добро. Эту мысль он тут же сообщал товарищам и те, как правило, соглашались: да, пора делиться. А почему, собственно, дедушка должен с ними делиться, никто из них объяснить не умел. Но время от времени в усадьбу являлась делегация и представляла права то на скот, то на орудия и технику, то на муку, а то и на заводики. Стоило же дедушке пуститься в увещевания, как в ответ начиналась давно знакомая песня о заеденном веке, выпитой крови и народном хребте. Особенный же интерес вызывал у крестьян винокуренный заводик. И страшно сказать: небольшой этот заводик, заложенный еще отцом дедушки и остававшийся до недавних пор предметом его гордости, стал теперь его кошмаром. Заводик гнал спирт из картофеля и свеклы и приносил вполне сносный доход. Но когда наклонные к дележу крестьяне положили глаз на заводскую цистерну, куда вмещались тысячи ведер спирта, дедушка перестал спать по ночам.

О намерении крестьян штурмовать заводик Павел Георгиевич узнал от управляющего, как только приехал после зимы из Москвы. Управляющий Иван Густавович Шпигель — маленький лысоватый блондинчик лет пятидесяти, бойкий, чистенький, всегда гладко выбритый — явился как обычно с докладом. Они говорили обо всем: о прошлогодних урожаях, о выкосе, о посевах... Наконец, уже собравшись уходить, Иван Густавович сказал:

— Да вот еще что... Надо тебе сказать, Павел Георгиевич, что у затевских крестьян блажь завелась: хотят твой спирт делить...

— Что значит «спирт делить»? — удивился дедушка: раньше об этом речь не заходила. — И какой это «мой спирт»?

— А такой, что в заводской цистерне остался. Это, надо думать, Зайцевы подбивают — два брата. Теперь все дележом грезят, так и зыркают: чего бы еще разделить. С пятого года завелась эта канитель. Нарыв, понимаешь! Как забунтовали тогда, так и тянется. Пока не лопнет, подгнивать будет.

— А со спиртом-то что? — сурово спросил дедушка.

— Так мыслю, что надо бы нам заводскую цистерну как-то освободить — оставлять боязно. Хорошо бы тебе, Павел Георгиевич, в акцизное управление обратиться. Без тебя я не стал — ты хозяин. Да и вообще осторожнее надо бы со спиртом — время лихое настало. До спирту ли?... — Иван Густавович поморщился и провел рукой по макушке, покрытой желтоватым пушком. — Того гляди что-нибудь посыплется.

С этими словами управляющий уехал, а дедушка заволновался. Он действительно решил написать в акцизное. А пока лишь усилил на заводе охрану, организовав из самых благонадежных мужиков что-то вроде милиции.

— Высечь бы всех этих... коммунистов, — ворчал дедушка по дороге со станции, покачиваясь в старинном ландо, невесть когда и откуда появившемся в имении. И брови дедушки шевелились, точно мыши, высушенные носы из нор.

— И высечь не получится, — вздохнул Алексей Иванович, сдвигая на глаза серую шляпу. — И толку не будет. Только вред один. Не те уже времена...

— Вздор! — взревел дедушка. — Времена!.. просто мужик, сукин сын, хочет господскую руку чувствовать, оттого и чудит.

— Мужик темен, — заметил Алексей Иванович, — и невиновен в том. Кто виноват? Да мы с вами и виноваты. А руки ему вашей не надобно, у него теперь имущественные интересы.

— Какие у него интересы, у пса? — снова взревел дедушка и так пристукнул кулачком по дверце ландо, что у Алексея Ивановича мелькнула шальная мысль: «Развалит дед тарантас...»

— Пес — не пес, а о себе понимает, — вслух заметил Алексей Иванович, — и по-старому не желает жить. Как оно будет по-новому, он и сам еще не ведает. Но по-старому уже не выйдет.

— Что же, по-новому то, предлагаешь спирт с ними делить? Или, может, Зайцевых этих, сукиных детей, в акционеры записать? — ехидно спросил дедушка, заглядывая Алексею Ивановичу в глаза снизу вверх, так что Алексей Иванович невольно поежился от этого взгляда.

— Ничего такого я вам не предлагаю. Но делать что-то надо. В конце концов, не стрелять же, как в Златоусте.

— А я бы так и... — пробормотал дедушка, сжимая кулак. Но фразу он не закончил, потому что ландо подкатило к дому и остановилось перед крыльцом, рядом с которым уже толпились и явившиеся из деревни крестьяне, и те, кто жил при усадьбе. Причем на одних лицах можно было заметить радость, на других — любопытство, а на иных — тяжелое, угрюмое выражение, никому не сулившее ничего хорошего.

— Позже договорим, — бросил дедушка, сходя с подножки ландо.

Мария Павловна не хотела вникать в эти дела, которые она называла «мужскими», и тут же забыла обо всем, что услышала от дедушки.

Через день Павел Георгиевич прислал за Алексеем Ивановичем. И когда тот вошел в маленькую комнатку тестя, озаренную красной лампадой в углу, дедушка мрачно сказал:

— Обдумал я, Алеша, насчет спирта. И вот, что решил: спирт мы сольем.

— Сольем?! — не поверил своим ушам Алексей Иванович, опускаясь на ближний к нему стул.

— Не ослышался ты, — сухо ответил дедушка, — сольем спирт. Прав ты, Алеша, признаю: мужик ныне переменялся, другой мужик пошел — страху в нем нет. И ежели его кто подобьет спирт «делить», то после он нами закусит. А усадьбу по бревнышку раскатает.

— Но помилуйте, Павел Георгиевич, — залепетал Алексей Иванович, — куда же мы его сольем? Не в поля же, в самом деле...

— Куда? — дедушка повернулся к Алексею Ивановичу, и мыши над его выцветшими голубоватыми глазами зашевелились. — А в реку и сольем. Оттуда уже не вылакают.

Тут мыши замерли, зато в глазах — двух бледных весенних лужицах — промелькнуло что-то недоброе.

— Да ведь количество... презрядное, — забормотал Алексей Иванович.

— Ничего! — ухмыльнулся дедушка. — Зато вода в реке чище станет. Завод-то прямо на спуске, краны открой и потечет. Что в песок уйдет, что река унесет... А за порядком милиция приглядит. К тому же, вон... — он

кивнул на письменный стол, где Алексей Иванович только сейчас увидел конверт, — из акцизного ответ пришел. То же советуют. Так что будем сливать!.. А с милицией Иван Густавович дело придумал: пушай мужик мужика и гоняет. По нынешним временам — самое оно!

И дедушка, прохаживавшийся по комнате перед застывшим на стуле Алексеем Ивановичем, рассмеялся тихим смешком, от которого у Алексея Ивановича, как и давеча, поползли по спине мурашки.

Новость о готовящемся сливе спирта распространилась по округе молниеносно. Крестьяне вокруг, как-то неприятно взбудораженные, только и шептались, что скоро спирт потечет рекой по деревне. Сначала Алексей Иванович недоумевал, как эта новость просочилась из дедушкиной комнаты, и уж не Иван ли Густавович пустил этот слух. Но Иван Густавович божился, что никому ничего не говорил и что даже милиция не знает, зачем охраняет завод. Есть приказ: не допускать беспорядков, чтобы не было драк и проникновения. Но о сливе спирта он пока не обмолвился ни словом. Тогда Алексей Иванович предположил, что это Мария Павловна или Лика, ехавшие в ландо при разговоре с дедушкой, могли что-то случайно сказать. Но обе они уверяли, что узнали о сливе спирта от горничной Натальи. Новость, как заключил Алексей Иванович, не очень их заинтересовала. К тому же он вспомнил, что в ландо ничего не было сказано о сливе. И лишь накануне события он понял, в чем дело.

Почти всю ночь Алексей Иванович провел без сна. Старательно и безразлично ко всему стучали часы, теплый ветер затаскивал в комнату летние запахи. Но Алексей Иванович не разбирал ни запахов, ни звуков, кроме стучавшего в голове голоса дедушки и вот уже несколько дней преследующего по пятам запаха спирта. Едва он задремал, как ему приснился дедушка Павел Георгиевич, нависавший и нехорошо похохатывавший. Алексей Иванович заключил в полудреме, что дедушка стал злым духом от ненависти и невозможности переменить ход вещей. «Как в Златоусте! — шипел дедушка. — И только так...»

Подготовка к сливу прошла спокойно. Рано утром в субботу почти вся усадьба явилась поглазеть на такое диковинное деяние. Лика осталась спать, но Мария Павловна под кружевным зонтиком не спеша направилась к заводу. Алексей Иванович, бледный, невыспавшийся, был уже на месте. Он казался чем-то недоволен и, как подумала Мария Павловна, не одобрял происходившее. Дедушки не было видно, а вот Иван Густавович суетился, то исчезая в заводском здании, венчавшем высокий берег, то снова появляясь снаружи. И вот как раз перед тем, как на заводе отодвинули вентили, все вдруг увидели, что со стороны деревни на них надвигается серая волна. По мере приближения волна и каждая ее капля обретали очертания, так что стало очевидным: на заводик надвигаются затевские крестьяне от мала до велика. Когда толпа еще приблизилась, Мария Павловна различила в руках у всех какое-то тряпье, а у нескольких человек — ведра. Сначала она не могла понять, что все это значит, но едва летний воздух сделался шальным от поднимавшихся с земли паров спирта, Мария Павловна догадалась, в чем дело. Да и сложно было не догадаться, когда крестьяне, словно никого, кроме друг дружки, не замечавшие, рассредоточились по течению спиртовой реки и, то и дело переговариваясь, переключаясь, разложили на земле принесенное тряпье. Почти у ног Марии Павловны, не обращая на нее никакого внимания, несколько мальчишек десяти-двенадцати лет страшно довольные, как будто попали на ярмарку, пристроили дырявую поневу. И когда та стала набухать,

пропитанная спиртом, мальчишки по очереди припадали к этой противной тряпке губами и, как поняла Мария Павловна, высасывали из нее спирт. Вскоре лица мальчишек сделались пьяны, а речь несвязна. Марии Павловне стало страшно, захотелось бежать. Она оглянулась на Алексея Ивановича. Он стоял чуть выше, не вынимал рук из карманов и мрачно смотрел на развернувшуюся у их ног вакханалию. Тряпки кругом темнели и набухали, слышались уже пьяные взвизги. Мария Павловна подошла к мужу и встала рядом.

Серая волна, точно ударившись о высокий берег, рассыпалась, растекалась. И сгнули в этом мелководье и милиция, и дедушка, и даже Иван Густавович. Никто не пытался остановить сборщиков «огненной воды», да и как запретить ее сбор? Слитый в реку спирт — все равно что выброшенная на помойку вещь. Но никто же не приставляет к помойке охранников и не запрещает присваивать брошенное. Брошенное — это ничье, посему собирать тряпками исторгнутый с завода спирт нельзя никому запретить, нет такого закона.

«Но ведь перепьются же! — восклицал про себя Алексей Иванович. — Насосутся тряпья...» И тут же сам себе отвечал: «А если и перепьются, то виноваты в этом будете только вы — ты сам, Алешенька, да тещушка твой старозаветный. Будто бы не знали, что мужичок-богоносец темен, аки сумерек июльский, и будто бы не ваша в том вина. А уж коли взяли на себя и не сдюжили, так с тем и живите...»

Все так и вышло, как предвидел Алексей Иванович: не дойдя до дома, затеевские насосались тряпок, и всю ночь вокруг усадьбы слышны были пьяные крики, визги и песни. Насосавшиеся спирта пополам с песком мужики и бабы, старики и дети гуляли до самого утра. И долго потом до усадьбы доходили рассказы, как в пьяную ночь зарезали бобыля Колотушкина, как померла, упившись, старуха Воропаева, а за ней — двое малолетних детей. Как беременная молодуха у Жабриковых родила раньше срока.

Всю ночь Алексей Иванович не спал, курил, лежа на диване, и смотрел в потолок, прислушиваясь к пьяному шуму и думая, что случившееся вполне можно назвать дурным предзнаменованием.

Наутро выяснилось, что не один Алексей Иванович дурно спал и предавался раздумьям. Дедушка как будто злорадствовал, а Мария Павловна была напугана. Всю ночь под пьяные крики она думала о том, как бы не поджег кто усадьбу.

— Зачем это они, Алеша? — вопрошала она за завтраком у мужа, потому что надо же было хоть что-нибудь сказать.

Но уставший за ночь Алексей Иванович только раздражался в ответ.

— Ну что за вопрос, Маша? — морщился он. — Зачем водку пьют?..

— Но это другое! — восклицала Мария Павловна, толком не понимая, что именно хочет сказать. — Тут грязь...

— Их грязью не проймешь и не испугаешь. Они в грязи живут и грязи этой не замечают.

— Пусть пьют! — вклинился дедушка. — Революционеры... Пусть лучше пьют!..

— А какие у всех лица некрасивые... зверские, — тихо, словно ни к кому не обращаясь, проговорила Мария Павловна. — Только сейчас это заметила...

Родная страна всегда казалась Марии Павловне чем-то вроде отделения рая, где люди разных сословий живут только что не обнявшись. Не-

смотря на то, что каждое лето Мария Павловна проводила в деревне, крестьянка она толком не знала. При слове «крестьяне» ей виделась, скорее, пейзажи с фарфоровых тарелок и литографий. Эти пейзажи все делали в охотку и даже с радостью — вставляли с первыми лучами, ходили с косами, плугами и серпами и от довольства жизнью постоянно пели. Она могла бы тысячи раз увидеть настоящих крестьян и понять их. Но, как и многие люди, она предпочитала видеть то, что было удобно видеть, и думать так, как было удобно думать. Больше всего на свете — конечно, до конца этого не сознавая — она не хотела разрушать своего довольства жизнью.

Но сцена со сбором спирта не оставляла иллюзий. Увидеть что-то другое, кроме действительности, не получалось. Никогда раньше Мария Павловна не замечала проявлений дикости, теперь же ее ужаснула «мысль народная». Ведь если это и есть подлинное лицо народа, то он попросту страшен. Он дик, непостижим и опасен.

— Да, — сказала она в столовой, помешивая серебряной ложечкой кофе, — он дик и опасен...

Никто ей ничего не ответил, и только что начавшийся разговор сошел на нет.

Но впечатления от слива спирта оказались столь сильны, что разговоры об этом происшествии не умолкали ни на день. Так или иначе к спирту возвращались снова и снова. Если нужно было сказать, что «сегодня жарко», то непременно при этом добавляли: «как в тот день, когда спирт сливали». Если кто-то хотел донести до собеседника мысль о своей усталости, то обязательно вспоминал, как все устали, «когда сливали спирт». Стоило кому-то выпить лишнего, как его тотчас сравнивали с насосавшимся тряпок крестьянами. Казалось, что домашние расходились на ночь только для того, чтобы передохнуть и на завтра с новыми силами вновь начать разговоры о спирте. Встречаясь друг с другом наутро, каждый из них видел в глазах другого слово: «спирт». Сначала они не смущались этого и охотно предавались разговорам о происшедшем. Но потом мало-помалу все стали понимать, что пора бы и забыть эту историю. Но забыть ни у кого не получалось. Они пробовали отворачиваться, отводили глаза — все равно ничего не помогало, и стоило им пересечься взглядами, как «спирт» снова прочитывался и заставлял говорить о себе. И единственное, что смогло перебить впечатления уходящего лета — это сообщение о войне с Германией.

* * *

Услышав о войне, все тотчас забыли о спирте и засобирались в Москву. Лица чему-то обрадовались, притих дедушка, сник Алексей Иванович, а Мария Павловна засуетилась пуще обыкновенного. И, как чеховская героиня, все повторяла про себя: «В Москву! В Москву!..» Слово там, в Москве, спасение от всех бед, словно Москва — это какая-то общероссийская кухня с горячей громадой печкой, с закопченной иконой и теплым мягким калачиком. И помолиться русскому человеку, и согреться, и калачика съесть. А повезет — и водочки нальют.

В Москву! В Москву!.. Бежать от серой волны, от напитанного спиртом тряпья. Спрятаться, затеряться в переулках между Арбатом и Остоженкой. Это здесь, в Затеяеве, все говорят: «Война». А в Гагаринском переулке, может, и не слыхивали ни о какой войне. Не бывает войны,

когда в кругом пахнет астрами и пальм листом, когда вечерами вспыхивают золотом окна в домах с колоннами и чугунными балкончиками... Не может быть!.. И стоит только вернуться в Гагаринский переулок, как рассеется этот морок, забудется война и набухшие от спирта тряпки, и все будет по-прежнему...

Но не стало по-прежнему. Оказалось, что и Гагаринский переулок знает о войне и в радостной готовности забросать врага шапками отпускает на фронт своих насельников. И вот однажды, с первыми заморозками, распахнулась тяжелая дубовая дверь, и старинный двухэтажный особняк с колоннами и лепниной выпустил из лона своего веселого Сергея Павловича, отправившегося стоять за Веру, Царя и Отечество. Вышел Сергей Павлович из старинного московского дома, оставив по себе облачко пара в морозном воздухе, и исчез навсегда. Вернулся домой январской газетой, списком павших на полях сражений. Ближе к Рождеству на фронт, в ту сторону, куда падает солнце, отправился и Алексей Иванович. И ничего не осталось Марии Павловне и дедушке, как пожирать глазами газеты с именами убитых и плененных.

Сначала, с отъездом Сергея Павловича, дом затих и как будто сжался. Портреты в гостиной помрачнели и нахмурились. Вечерами стало страшно за тяжелой дубовой дверью, днем — тоскливо. Даже убранная к Рождеству елка не развеяла опустившиеся на дом сумерки. А за окнами — синие ночи с искрами снега и звезд, равнодушная ко всему луна, ветви в снежных боа и тени, тени... И в Москве нет от них спасения!..

Едва дети уехали после праздников в Петроград, как обрушилась на дом газета. Убит! Убит Сергей Павлович, Сережа, не смеяться ему больше, не пересмешиничать, не дразнить дедушку революцией... Обрушилась январская газета и погребла под свинцовыми буквами прежнюю жизнь. Много видал на своем веку дедушка, многое вынес. Не вынес только газеты и упал, придавленный проклятым списком. И к лету стал дедушка дряхлым. Разбежались серые мыши, остановился взгляд, сухие пальцы еще высохли и пожелтели. О переезде на лето в Затеёво не могло быть и речи. Дедушка тихо угасал, а Мария Павловна только плакала молча, не в силах ничего поделать.

В конце августа приехал Алексей Иванович, и в Новое Ваганьково провожали дедушку вместе. «Это все война, — думала Мария Павловна. — Какая война? С кем? Зачем она?..» Но ответ не приходил, зато вспоминалось почему-то Затеёво. Вспоминалось неприязненно, почти с ненавистью, точно тут и была причина наступивших несчастий и бед.

— Алеша, — обратилась она к мужу, когда они уже возвращались с кладбища домой, — скажи мне, что это за война? Надолго она? Только ты честно, Алеша, скажи. Я ведь не понимаю, а это страшно, когда ничего не понимаешь.

До Арбата доехали на извозчике, а дальше Мария Павловна предложила пройтись, потому что как можно дальше старалась оттянуть миг возвращения в пустой дом. Самое же страшное было в том, что очень скоро ей предстояло остаться в доме совершенно одной. Прислугу она в расчет не брала. Впрочем, Алексей Иванович предлагал ей либо найти жильцов, либо перевезти в дом старую тетку, жившую бобылкой в Гусятниковом переулке. Тетка была не только стара, но еще и очень упряма, так что надежда на ее согласие была слабой.

Они медленно шли по Арбату, оба бледные, исхудавшие; Мария Павловна под черной вуалью, Алексей Иванович — в форме офицера инже-

нерных войск. Она держала мужа под руку и слабым голосом человека, пережившего горе или перенесшего болезнь, просила объяснить, как жить дальше. Но он, понимавший, что объяснить ничего не сможет, поскольку грядет неизвестность, старался отвечать осторожно и уклончиво:

— Я думаю, это надолго, Маша. И покой вернется еще не скоро. Я понимаю, что тебе трудно, и все же надо быть сильной, надо дождаться, когда все успокоится.

Мария Павловна прикрыла глаза, тихо и коротко простонала.

День был теплый, но осень уже ощущалась. Какая-то осенняя леность отпечаталась на всем: по-осеннему лениво струился воздух, светило солнце, шелестел ветер в ветвях. Эта леность, эта готовность заснуть передалась и Марии Павловне, которая вдруг отчетливо ощутила, что больше всего на свете хотела бы забиться в какой-нибудь теплый уголок, уснуть и проснуться, когда все уже закончится. Но люди кругом ничего похожего, казалось, не испытывали. Экипажи сновали, извозчики кричали наглее обычного, тут и там собирались группы людей и возбужденно переговаривались, туда-сюда бегали мальчишки и собаки — публика, как известно, самая занятая и деловитая. Рота солдат прошла навстречу, гулко стуча сапогами.

Мария Павловна смотрела вокруг с тоской, думая о том, что прежней жизни — такой счастливой и такой красивой — уже никогда не будет. Даже когда закончится война и забудутся утраты.

* * *

Страшно жить одной в старинном двухэтажном доме. Хотя бы и дом был с колоннами и лепниной и стоял бы он в Гагаринском переулке. Хотя бы приходили письма от детей и мужа, а кухарка с горничной хлопотали по-прежнему. И хотя бы старая Анна Гавриловна с Гусятникова переулка переселилась в комнату дедушки — все равно страшно!

Только сейчас Мария Павловна заметила, что толстая кухарка Авдотья все время молчит, ходит вразвалку и, кажется, вечно чем-то недовольна. Правда, горничная Нюша говорит, что сын Авдотьи живет в мальчишках и терпит колотушки, но Нюше, кажется, и верить нельзя. Оказалось, что Нюша болтлива сверх меры и боязлива до слез. Стоит только посмотреть на нее строго, как Нюша уже плачет. Странно, но раньше ничего этого Мария Павловна не замечала. А уж Анны Гавриловны Нюша боится пуще всего и за глаза зовет ее «ведьмой». Мария Павловна, конечно, делает ей замечания, но про себя соглашается и удивляется: как это она раньше не замечала, что тетушка — это же настоящая *la Dame de pique!* Так и кажется, что вот сейчас скажет: «Я пришла к тебе против своей воли...»

Мария Павловна хотела было сдавать комнаты, но кого же пустишь, когда те, кому можно было бы сдать, воюют или ходят по Москве с красными бантами; когда народ — тут Мария Павловна вспоминала Затеёво и даже ощущала запах спирта, — когда эти страшные люди получили оружие. Конечно, она бы и не пустила на постой солдат. Но все же, все же...

Пришлось уговаривать Анну Гавриловну. Но та выдвинула условия: чтобы ежедень ей приготавливали по несколько видов каш и чтобы позволяли время от времени вызывать духов. Мария Павловна, приезжавшая в Гусятников переулок вместе с Алексеем Ивановичем перед самой его отправкой на фронт, сначала ничего не поняла. И, смутившись собственной bestолковости, переспросила?

— Каши? Каких каш, тетушка? И каких духов?..

— Маша, тетушка хотела бы заниматься столоверчением, — тихо подсказал Алексей Иванович.

— Обыкновенных, мать моя, — недовольно ответила тетушка. — Гречневой — прежде всего. Ну и прочих — манной, пшенной, гурьевской... Самых обыкновенных! А духов теперь все на Москве вызывают. И что мы — хуже других?

Каши Мария Павловна охотно пообещала, скрепя сердце согласилась и на духов, признав, что они вовсе не хуже других, после чего Анна Гавриловна заявила, что через неделю припожалует в Гагаринский переулок.

Но не прошло и нескольких дней, как Анна Гавриловна поселилась в комнате дедушки на первом этаже, а все обитатели дома устали. Пиковая Дама начинала день с поедания каш и требовала на завтрак четыре смены блюд. Гречневую кашу должна была сменять овсяная, затем следовала пшенная, а в качестве десерта — гурьевская, к которой надлежало непременно подавать сливки. Продолжалось это изо дня в день, так что даже молчунья Авдотья разговорилась. И на робкий вопрос Марии Павловны — нельзя ли как-нибудь к завтраку котлет подать, а то все каши да каши — Авдотья огрызнулась:

— Я, барыня, только с кашами этими, будь они неладны, успеваю поворачиваться. Какие уж тут котлеты...

«Сама виновата», — думала Мария Павловна, смиряясь с кашами. И как-то уж не очень уверенно: «Зато не так одиноко в доме...»

— А крупа-то меж тем дорожает, — как-то отпустила Авдотья и с обидой покосилась на Марию Павловну, как будто это ее стараниями вздорожала крупа.

От этих слов Марии Павловне стало не по себе, она закрыла глаза и выдохнула:

— Что же нам, ее выгнать?

Но Авдотья только носом шмыгнула.

С духами оказалось еще сложнее. Время от времени Анна Гавриловна требовала Марию Павловну к себе в комнату, доставала доску с буквами, блюдец и заунывно зывала:

— Дух, приди!..

Чаще других к ним почему-то являлся дух императора Николая Павловича, предсказывавший то холодную зиму, то затяжную войну. Но после того, как на вопрос «когда вернется Алексей Иванович?» дух ответил: «Никогда!», Мария Павловна расплакалась и с тех пор наотрез отказалась вызывать духов. Анна Гавриловна пробовала обижаться и даже пригрозила вернуться к себе в Гусятников переулок. Но поскольку никто не стал разубеждать ее в этом, она оставила свои притязания на совокупный спиритизм и, по всем вероятностям, стала предаваться этому пороку в одиночестве — Авдотьины каши нравились ей больше, чем те, что готовили дома. Зато к страхам Марии Павловны добавилось «пророчество» императора и чароплетствующая в комнате дедушки Пиковая Дама.

К Рождеству съехались дети, стало веселее и не так страшно. Втроем они ходили гулять, побывали на катке на Чистых Прудах. И Мария Павловна сделала для себя еще одно открытие, отметив, что в Москве стало меньше мужчин. А если и попадались мужчины, то чуть не через одного увечные — кто без руки, кто без ноги. По счастью, Лика и Мика ничего не замечали — сначала шли, а потом катались, взявшись за руки, и хотели над каким-то вздором. Мария Павловна смотрела на них и едва не

плакала, в одно и то же время умираясь и приходя в ужас от неизвестности. Оркестр играл новый, незнакомый Марии Павловне вальс, то постукивали, то скрежетали коньки, и Мария Павловна думала, что хорошо бы сейчас вернуться домой, где ждут их бабушка, Алеша, Сергей, где шумно и весело... Но нет ни Сергея, ни бабушки, и Алексей Иванович далеко. Есть только Пиковая Дама, поедающая каши горшками.

Перед самым праздником позвали дворника. Тот явился, преисполненный важности, нацепил на ноги щетки и весь день натирал полы, отчего все в доме пропахло мастикой, и наутро Анна Гавриловна жаловалась на бессонницу и головную боль. Мария Павловна тоже не могла заснуть из-за запаха и теперь удивлялась, что раньше никогда не обращала внимания на мастику. Только Лика и Мика по-прежнему хорошо спали и против запаха мастики не возражали. Зато полы теперь блестели как бриллиантовые. И Анна Гавриловна, умилившись этим чудным блеском, велела Авдотье пригласить дворника на кухню и накормить его разными кашами. На что Авдотья промолчала, а вот гримаса ее, на которую Анна Гавриловна не считала нужным обращать внимания, рассказала о многом. И поскольку Анна Гавриловна вскоре забыла о своем желании, дворник остался без угощения. Впрочем, угощение все же было. Но не в виде разнообразия каш, а в виде стакана водки и внушительных размеров куса пахучей розовой ветчины. Все это Авдотья с самым недовольным видом, на какой только была способна, вынесла дворнику после того, как он затащил в гостиную большую елку, вскоре оттаявшую и наградившую весь дом праздничным духом. Но длился праздник недолго.

Снова дом опустел — Лика и Мика вернулись в Петроград. Елка засохла, дворник унес остов ее, и Авдотья собрала веником опавшие иголки. Понемногу вернулись страхи, и синие тени вновь стали бродить вокруг дома. В газетах писали о наступлении русской армии, но Мария Павловна, не сумевшая забыть пророчества императора, трясущимися руками разворачивала списки убитых и плененных и мимоходом думала: «Какое наступление? Зачем? Кому это надо?..»

А жизнь в Москве дорожает. Цены, со слов Авдотьи, как тараканы при вспыхнувшей лампе — вскинулись, да разбежались, никому не угнаться. И не одной Марии Павловне страшно — каждый день в газетах самоубийцы. На Арбате устроили госпиталь, куда привозят несчастных, увечных. Увидев раненых, разложенных на носилках прямо перед особняком, Мария Павловна вспомнила об Алексее Ивановиче и чуть не упала в обморок. Впрочем, в обморок она все-таки упала, когда, решившись помогать в госпитале, впервые явилась на перевязку. Но увидев вместо человеческого тела красную, трепещущую, склизкую массу, Мария Павловна схватила ртом воздух, закрыла глаза и осела на пол. В следующий момент она ощутила резкий запах и обнаружила себя в широком клеенчатом кресле, а над собой — склонившихся доктора и санитаря. Доктор, похожий на Шаляпина, сказал басом:

— Ступайте домой, голубушка. Не добавляйте хлопот. У нас и без того людей не хватает.

Старая со стыда, Мария Павловна убежала на трясущихся ногах. И, казалось ей, что все безногие смеются вслед. А после подумалось: вон там, на Арбате сложены в таз отрезанные ноги и дрожит скользкая, обнаженная плоть, а чуть в сторону — и новые театры открываются один за другим. И в каждом таком театре еженощно нет свободного места, потому что

все хотя и веселиться. Ах, как страшно жить в городе, где веселятся рядом с отрезанными ногами!..

А потом пришел самый страшный год. И после лютых морозов прогремела в Москве новость: Государь отрекся. «Боже, Боже... — думала Мария Павловна, уронившая газету на стол. — Хлеб по карточкам, царя нет... Что дальше-то будет?..» А дальше действительно становилось все хуже и хуже. Уютный мир, пахнувший жасмином и липой, рождественской елкой и филипповской булкой, уверенно сходил на нет. Сначала в Москве арестовали полицию, потом написали в газетах, что арестованы Государь с Государыней. От Мики тем временем пришло письмо: «Дорогая мама! В Петрограде революция, Вы знаете. Сначала были волнения, полиция разгоняла демонстрации, потом оцепила мосты и перекрестки. Говорят, были убитые и раненые. Сначала казалось, что все это быстро закончится, но забастовка только ширилась, пока не стала всеобщей. Люди были недовольны, а винили во всем Государя. Какая глупость!

В конце концов, полиции пришлось стрелять по забастовщикам и демонстрантам. Но к этому времени взбунтовались войска. Государь велел распустить Думу, но правительство не подчинилось, значит, и правительство присоединилось к революции. Государя вынудили отречься.

Вскоре после отречения вышел какой-то указ, чтобы снять повсюду портреты августейшей семьи. Дошло и до нас дело. Но когда к нам пришли, чтобы снять государев портрет из Георгиевского зала, я и несколько моих товарищей, заступили на его охрану, решив, что не отдадим портрета на поругание. Мы объявили, что будем стрелять, если к нам применяют силу. Три дня мы стояли на страже портрета, и три дня сам директор уговаривал нас снять караул. Мы ничего не ели и не пили, и к концу третьего дня едва стояли на ногах. Но мы решили исполнить свой долг, как мы его понимаем, и стоять до последнего. Между собой мы условились, что умрем, но не отдадим портрета. Но директор сказал, что если мы умрем рядом с портретом, нас похоронят, а портрет все равно снимут. На третий день директор объявил, что намеревается перенести все августейшие портреты в музей в одном из коридоров. Он убедил нас, что найдено соломоново решение. Явился оркестр и заиграл гимн, под звуки которого портрет торжественно перенесли в музей. Нас, стоявших в карауле, пришлось отправить в лазарет после трехдневного стояния. Не знаю, исполнили ли мы свой долг. Думаю, пришло время, когда каждому придется вспомнить о долге...»

Бедный Мика, бедный Государь!.. А сахар уже — тридцать копеек фунт, и дрова по пятидесяти рублей сажень. За хлебом очереди, а выдают по карточкам. Говорят, что каждую ночь на улицах грабят и режут. И не далее, как неделю назад все обитательницы дома признались наутро, что слышали в полночь раздирающий душу крик со стороны Сивцева Вражка. Боже, Боже!..

Весной у Лики был выпускной акт. Но Мария Павловна не поехала в Петроград, а Ликю решено было оставить пока у Горских. Лика с обидой писала, что вместо пергамента аттестат выписали на бумаге, а медали и вовсе были отменены. Но какие это теперь пустяки, когда газеты превратились в книгу мертвых, а чтение их стало сошествием во ад. Убийства, восстания, мятежи, смерти... Потом болезни, голод, грабежи, дезертир-

ство... Хлеба нет!.. Ограбление века!.. Мятеж подавлен!.. И понеслось, закрутилось...

Мария Павловна решила газет не читать. Все равно, если с Алешей что и случится, ей перескажут другие. Но вдруг...

В Петрограде снова революция. Вся власть Советам. В Москве — восстание и стрельба по Кремлю из пушек. Говорят, будто сбили крест с Василия Блаженного и разворотили часы на Спасской башне. Произошло худшее из того, что только могло произойти. Нюша сказала, что из деревни приехал ее дядька — привез муку на рынок. Так вот, в деревне старики революцию объясняют осенью. Вот кабы сейчас весна была, так не случилось бы революции. Анна Гавриловна сказала, что это вздор и что революцию давно предсказывал Николай Павлович, потому что разврат кругом.

При упоминании августейшего имени Мария Павловна вздрогнула, а посмотрев на серое небо, на жухлую траву за окном подумала, что, возможно, все так и есть, как Нюша говорит: там, где осень сменяется подготовкой к зиме, неизбежно случаются красные революции, как лучшее средство против серого цвета.

За завтраком, непонятно к кому обращаясь, Анна Гавриловна, давно уже довольствующаяся одним овсом, сказала:

— В деревню бы надо. Здесь скоро совсем есть нечего будет.

Мария Павловна забеспокоилась, потому что и сама вспоминала о Затееве. К тому же накануне новой революции пришло письмо от Ивана Густавовича. Управляющий писал: «...Хорошо бы кому-то приехать. Мужики шалют, и кто-то уже пустил слух, что усадьбу бросили и все здесь ничейное — можно брать. Самые смутьяны так и внушают остальным: “Баре-то в нетях, стало быть, добро наше”. Мыслью, что Вам надо приехать, Мария Павловна, и показать им, что Вы вовсе не “в нетях”. Несомненно, это их успокоит на время...» Самым неприятным оказалось это «на время», но о поездке она задумалась. Революция — революцией (да и не век же им грохотать!), но о добре порадеть больше некому. К тому же права Пиковая Дама: в Москве становится голодно. Но ведь и дом не бросишь, о чем Мария Павловна так прямо и заявила Анне Гавриловне. Та только руками всплеснула:

— А я-то на что?! В деревню все равно не потащусь — стара стала для дальних прогулок. А дом твой могу покараулить. Остались бы мы с Авдотьешкой, а вы с Нюшей поезжайте. Обратное — из мужиков кого покрепче возьмете, может, мучицы нам притащите.

В начале ноября, сухими, морозными днями Мария Павловна и Нюша выдвинулись в Затеево.

* * *

Уже в поезде Марию Павловну стало знобить. Нюша ахала, причитала, возилась с горячим чаем, но Марии Павловне хотелось только одного: забраться под теплое одеяло и забыться наконец, не думать о революциях и мятежах, мужиках и муке. Нюша звала вернуться в Москву, но решено было ехать в имение и там обмогаться.

В ландо Марии Павловне стало жарко, и она, вопреки уговорам Нюши, все пыталась расстегнуть шубку. Она видела, что Иван Густавович тревожно смотрит на нее, слышала, как Нюша бормочет «ну, не надо, барыня... не надо... шубку не распахивайте...», помнила, что в дом ее

занес Иван Густавович, а потом Ньюша и Наталья — жившая в доме де-вушка, затеевская горничная Марии Павловны — раздели ее и завернули в одеяло. А потом стало жарко, неудобно и беспокойно. То ей казалось, что нужно куда-то бежать, и она пыталась подняться. Но тут появлялись Ньюша с Натальей и удерживали ее. Она пыталась им объяснить, что надо, что у нее дело, и тогда Ньюша начинала плакать, а Наталья — уговаривать: — Потом, потом...

Она соглашалась, потому что не было сил спорить и сопротивляться, и проваливалась в какой-то омут. Но, как ей представлялось, через минуту она всплывала, хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и снова всплывала, что нужно идти, что Иван Густавович ждет и что спирт надо разлить по лукошкам. Снова ее держали, снова она погружалась в омут, а после всплывала и слышала где-то рядом негромкие голоса. Как-то она открыла глаза и увидела доктора. От того тянуло холодом и был он невесел. Мария Павловна не успела как следует рассмотреть его, как омут затянул ее, и темные воды сомкнулись над головой. И во все время с утра до вечера где-то гулко стучал топор.

Наконец, настал день, когда воды омута расступились и стало совершенно ясно, что не надо никуда торопиться, что можно просто лежать, прислушиваться, ни о чем не думать и смотреть, как за окном падает снег. Приходил доктор, такой же холодный, но повеселевший.

— Жить будем! — сказал он и подмигнул Марии Павловне. — А то уж напугали вы нас.

Когда доктор ушел, Ньюша принесла ей два письма. Одно было от Алексея Ивановича. Он писал: «...*Маша, пришла пора определиться и понять: с кем ты. А для меня пришла пора защищать революцию. Быть может, ты и не поймешь меня сразу. Но постарайся понять со временем. И еще. Я верю, что не бывает безболезненной эволюции. Всякое развитие сопровождается болезнями роста. Наша революция — это такая же болезнь, это стадия, которую проходит эволюция, это неизбежная боль при усилении продвинуться вперед...*» Мария Павловна последовательно обрадовалась, что муж жив, потом перечитала еще раз его послание, потом поморгала и все же была вынуждена признать, что мужа не поняла.

Решив вернуться к письму Алексея Ивановича после, она взялась за другое письмо. Это пришло из Москвы, с Гагаринского переулка и, судя по каракулям, писала его Авдотья. Мария Павловна прочла: «*Барыня, Мария Павловна! Пишет Вам это письмо Авдотья и Анна Гавриловна рядом. Ей писать тяжело, а я хоть и не сильна в грамоте, но да как-нибудь с Божьей помощью одолеем. Как вы с Ньюшей уехали, так скоро в Москве стрелять почти перестали. Однако ж говорят, что народу в Москве не то пять, не то семь тысяч положили. Уж убили нашего дворника, так что некому будет теперь полы натирать. Все ныне ходят на Кремль смотреть, говорят, не было такого позору. Как Мамай прошел! Надо бы хуже, да некуда. Но пишем мы вам не про Кремль, а про то, чтобы вы с Ньюшей назад пока не ехали — не ровен час пристрелят по дороге. А то и хуже чего. Вот Анна Гавриловна ругают меня и говорят: чего хуже-то. А я думаю, как снасильничает солдат, так узнаешь, чего хуже. Сидите покамест в деревне, а как успокоится, дадим вам знать. В газетах теперь пишут, что царство большевиков мертворожденно, что на стенах его написано мене, те-кел, фарес. Бог знает, что это за слова, но Анна Гавриловна разъяс-*

нила мне. А значит это, что конец царству большевиков. В Москве голодно, а говорят, будет хуже. Так вот мы к вам и относимся: погодите пока возвращаться. Как падет их царство-то, тогда и вернетесь...»

Авдотья так коряво писала, что Мария Павловна устала читать. Но как ни тяжело ей было, она уяснила, что Авдотья с Анной Гавриловной и Алексей Иванович пишут об одном и том же.

К обеду Мария Павловна впервые со дня приезда встала и, кутаясь в теплый платок, вышла в столовую. Наталья принесла ей чашку бульона и чай. Мария Павловна набирала желтый горячий бульон с кружочками жира, похожими на монеты, и почти с наслаждением поглотила ложку за ложкой, думая при этом, что Наталью, в сущности, можно было бы назвать красавицей, если бы не такое плотоядное выражение лица; глядя на это лицо, невольно думалось, что вот создание, предназначенное для плотских утех. Однако с самой той минуты, как только Мария Павловна вошла в столовую, что-то неприятно задело, что-то кольнуло ее. Она все не могла понять, в чем же дело, пока Наталья не налила ей чаю. Перед Марией Павловной стояла старая белая, с отбитым краем чашка из давно разоренного сервиза, от которого остались несколько разрозненных предметов. Это Мария Павловна хорошо помнила. Уже давно, приезжая в Затеёво, чай пили из голубого сервиза.

— Что это, Наталья? — слабо спросила Мария Павловна, поднимая глаза на буфет.

Буфет был пуст и даже сдвинут с места, точно его хотели вынести, да передумали — старинный дубовый буфет был тяжел как мельничный жернов.

— А где же... — пролепетала Мария Павловна, вперившись в буфет. Тут только она догадалась осмотреться и поняла, что именно кольнуло ее при входе в столовую: комната опустела. С окон исчезли ситцевые шторы, пропали два стула и комод вместе с вязаной дорожкой и фарфоровым зверинцем, растворился граммофон, причем вместе со столиком, на котором уже много лет тому назад обосновался между двумя окнами, сгниuli две литографии.

— Где же все? — договорила пораженная открытием Мария Павловна.

И Наталья, то подвывая, то всхлипывая и размазывая слезы, поведала, что началось это еще с лета. Кто-то пустил слух среди мужиков, что «баре в нетях», что больше в Затеёво никто из них не приедет и что вообще все теперь общее. И стали мужики сначала робко, потом все смелее и шибче тащить барское к себе. Сначала — рубить лес, потом — заглядывать на двор, а там и до дома добрались. «А как услышали про леворюцию в Петербурге, так совсем ополоумели». Пока же Мария Павловна болела, заходили в дом запросто и брали, что глянется. А выгнать никто не мог, потому как в кухне окна побили и грозились еще побить. А как стал управляющий, Иван-то Густавович, ругать да корить, пообещали петуха красного пустить. Хуже всего, что ничего теперь не боятся, прознали, что все-де общее стало, и каждый долю свою требует. И бабы туда же. Вот днями являлась морозовская Клунышка, так это она дорожку со зверями утащила. Так прямо поклала зверей-то в дорожку, завязала узлом и уперла. У меня, говорит, тоже есть куда зверей пристроить.

Точно в подтверждение слов Натальи ввалился вдруг в столовую пьяный малый лет двадцати трех с наглым, лыбящимся лицом, одетый в ладный полушубок и, не обращая ни на кого внимания, заозирался, буд-

то подыскивая, что бы еще взять. Но Наталья налетела на него, стала выталкивать со словами «вон пошел... растащили ужо... нечего тут...» Парень хохотнул, сказал: «Ишь, гордые... А петуха красного не боитесь?..», но все же исчез.

И вот тут что-то случилось с Марией Павловной. Добрая и нежная, она вдруг ощутила прилив какой-то звериной злобы. Нюша впоследствии утверждала, будто слышала в ту минуту, как барыня не своим голосом процедила сквозь зубы: «Ненавижу...»

Правда же была в том, что Мария Павловна именно тогда вдруг постигла природу своих чувств к этим грубым и темным людям. Уже давно она не понимала, боялась и действительно ненавидела их. Но пока они и Мария Павловна были разделены между собой, жизнь казалась прекрасной. Как только разделительная черта стала исчезать, стираться, начался кошмар. Она хорошо помнила, как Алексей Павлович, бывало, говорил: «Кто же виноват, что они такие? Мы с вами и виноваты». Однако согласиться с этими словами Мария Павловна не могла. В чем же виновата, например, она? Кому как Бог судил, тот так и живет, крест у каждого свой. Быть недовольным — Бога гневить. Конечно, сама она крестьянкой не хотела бы родиться, но кто же выбирает, как ему родиться! Счастье возможно, когда все в мире стоит на своих местах. А если что-то и смещается, то происходит это должно медленно и постепенно. Иначе все опрокинется, и под обломками мироздания счастья никому не видать. Был дивный мир, и все пребывали там, где им положено быть. Царь — над всеми, Мария Павловна — в собственном московском доме, дворник — в каморе, затеевские мужики — в Затееве. Но стоило поколебать мироздание, и вот уже дворник лежит с простреленной грудью. А уж дворнику ли быть недовольным, когда всякий раз за натертые полы и принесенные к Рождеству елки ему выносили рубль и стакан водки. Чем же они отплатили?.. Тем, что разграбили?.. Что красного петуха пустить грозятся?..

Ничего удивительного, что сквозь такие мысли Мария Павловна пробормотала «ненавижу». Впрочем, она могла сказать что-то совершенно другое. Например, «не вижу», поскольку выхода из нового и малоприятного положения она действительно не видела. Особенно, когда спустя два дня, ее среди ночи разбудила Наталья.

— Барыня, — звала она тихонько и трясла Марию Павловну за плечо. — Барыня, вставайте...

Мария Павловна, испугавшись и ничего не понимая со сна, резко подскочила и, усевшись на постели, уставилась на Наталью.

— Ух, глаза-то у вас... — пробормотала та и спохватилась. — Вам, барыня, уйти бы лучше... на всякий случай... от греха подальше.

— Куда уйти? — пробубнила Мария Павловна, никак не могущая взять в толк, в чем дело.

— А хоть куда! Главное — из дому выйти. Мужики пришли, орут — пьяные, должно, и с огнем. Подождут дом, неровен час. Сейчас многие так балуют. Так лучше выйти от греха подальше.

— Куда же я пойду? — испугалась Мария Павловна. — Ночь... зима...

— Да хоть куда! — воскликнула Наталья, пытавшаяся в окно разглядеть мужиков, чьи голоса теперь хорошо слышала Мария Павловна. — Сами видите — забаловал мужик, пес его разберет, что он чинит. Не в постели же их встречать. А ежели займется, так чтобы голой не пришлось на мороз-то. А то, глядишь, поговорите с ними, они и уйдут с миром.

Голоса между тем становились громче. Слышно было, как на крыль-

це препираются пришедшие и те, кто жил в доме, да как надрываются лаем собаки. Мария Павловна, накинув халат, подошла к окну и встала рядом с Натальей. Старый дом, построенный еще дедушкой дедушки, был деревянным, с широким крыльцом, двумя вытянутыми одноэтажными крыльями и мезонином посередине. Окно комнаты Марии Павловны располагалось по фасаду, но в дальней части правого крыла, так что крыльца из ее окна видно не было. Только тени метались по неглубокому еще снегу, и отблески огней трепетали как сказочные птицы. Вдруг послышался удар, звон стекла и визг — визжала Нюша. В следующее мгновение началось суматоха — кто-то бегал по дому, хлопали двери. Наконец, прозвучало роковое слово:

— Пожар! — пискляво крикнула Нюша, а за ней то же самое повторили еще несколько голосов.

— Ну же, барыня, одевайтесь быстрее! — взревела Наталья и бросилась стаскивать с Марии Павловны халат.

Наспех одевшись, натянув чулки, платье, зашнуровав ботинки, Мария Павловна бросилась из комнаты. Наталья тем временем выхватила из шкафа шубку, в которой Мария Павловна приехала из Москвы, и набросила ей на плечи, заодно сунула в руки сумочку и какую-то не то кепку, не то шапку, давно уже валявшуюся на подоконнике. Но по коридору полз дым — видимо, загорелось в одной из комнат, куда, разбив стекло, забросили горящий светоч. Мария Павловна, плохо соображая, ринулась было в клубы дыма, словно в пасть гигантского чудовища, но подоспевшая Наталья схватила ее за рукав и затащила обратно в комнату.

— Куда ж вы, барыня, сгорите! — кричала она.

В комнате Наталья первым делом захлопнула дверь, после чего схватила стул и выдавила им окно. Крики и визги стали громче.

— Полезайте, — и Наталья почти выпихнула Марию Павловну на улицу, после чего, выпрыгнула и сама.

Стоя на коленях на снегу, Мария Павловна надела шубку в рукава, потом вскочила и, прижимая к себе сумочку и кепку, бросилась в сторону.

А вокруг дома метались люди, кто-то что-то тащил или выбрасывал из окон, перед крыльцом началась потасовка. Огонь уже наведалься в несколько комнат, а куда не успел сам добраться, подослал вперед себя плотный бурый дым. Кое-где пламя лихо вертелось перед окнами, выдавливая рамы. Наконец, Мария Павловна увидела, как занялось в мезонине. На миг ей показалось, будто это какая-то баба из затеевских пляшет, обрядившись в рыжий платок.

Старый дом погибал. В это самое время Мария Павловна как будто перестала понимать, что происходит вокруг. Смысл событий, разворачивающихся перед ней, стал таять, она словно потеряла нить, которая вела ее к свету из лабиринта. А потому свет вдруг погас, и Мария Павловна оказалась одна в темном туннеле. Тогда она повернулась к дому спиной и побрела в сторону станции, нахлобучив на голову старое жокейское кепи Сергея Павловича.

* * *

Над станцией простиралось черное небо в золотых дырочках звезд, и Мария Павловна подумала, что за этим черным небом должно быть другое — золотое, простирающееся над другим миром, достойным золотого неба. Она сидела на чем-то мягком узле и не замечала, что рядом на плат-

форме собираются люди, не слышала, что прямо над ухом у нее говорят о затеевском пожаре, не чувствовала долетавшего даже до станции запаха гари.

Кто-то несильно толкнул ее, и она медленно повернулась. Подле стоял мужик с топорщащейся бородой и что-то говорил, указывая на узел, но она не понимала, что ему нужно, не могла разобрать смысла его слов. Подошел поезд и ослепил светом своих огненных глаз. Все, кто были на платформе, засуетились. Мужик — хозяин узла — перекрестился, обхватил за плечи Марию Павловну и с легкостью принудил ее встать, высвобождая свой узел. Тут ее подхватило людской волной и повлекло к вагону. Она не сопротивлялась и очень скоро оказалась на деревянной скамье, зажатой между какими-то людьми, чужими и незнакомыми ей. К ней обращались, что-то выспрашивали или рассказывали, но она по-прежнему не воспринимала обращенных к ней слов и вообще ничего не воспринимала. Не только соседям, даже самой себе не смогла бы она ответить ни на один вопрос.

Она не знала, сколько уже едет вот так, плечо к плечу с неизвестными бабами и мужиками в неизвестном направлении, когда поезд, и без того еле продвигавшийся, вдруг остановился. Кто-то опять толкнул Марию Павловну. Сидевший слева от нее маленький человечек с хитрыми глазками что-то говорил и предлагал ей взять медный чайник. Второй такой же чайник оставался у него. Мария Павловна бессмысленно посмотрела на человечка и на чайник и сжала в пальцах деревянную ручку посуды. На лице человечка отобразилось довольство. Он вскочил и легонько потянул Марию Павловну за рукав. Мария Павловна, сжимая в руках чайник, послушно и равнодушно последовала за человечком.

Они пришли на станцию, где человечек подвел Марию Павловну к белой будке, на которой большими черными буквами значилось: «Кипяток». Они встали в очередь, состоявшую из людей с чайниками. Когда они продвинулись настолько, что оказались внутри кубовой, человечек забрал у Марии Павловны чайник, но вскоре вернул. Только теперь чайник стал тяжелым, и Мария Павловна почувствовала исходившее от него тепло. Неспешно с изрядно потяжелевшими чайниками они направились к поезду. К этому времени почти рассвело, все свидетельства существования другого — золотого — неба исчезли, и стало понятно, что нет никаких других миров, есть только белесое солнце, зловещие мужики и горячий чайник. А еще есть этот маленький человечек с хитрыми глазками, мечущийся на опустевших путях и Бог знает, о чем кричащий.

А кричал человечек о том, что поезд, в котором они приехали, ушел; что там остались все его вещи и что теперь нужно как-нибудь догнать его, потому что иначе вещи украдут. Но Мария Павловна только молча наблюдала за ним, все еще плохо понимая, что происходит. Человечек подскочил к ней и потянул ее за руку, но Мария Павловна руку отдернула, отчего плеснула на ногу кипятком.

Она вскрикнула, отбросила в сторону чайник и разразилась слезами. Снег под разлившимся кипятком тут же растаял, вокруг лежавшей на боку посуды образовалась черная проталина с расплывшимися краями. Человечек, по-видимому, испугался криков и рыданий Марии Павловны, потому что вдруг замолчал, а потом и вовсе исчез, не забыв прихватить с собой брошенный чайник.

Но происшествие это как будто пробудило Марию Павловну, вывело ее из оцепенения. И она вдруг увидела себя одиноко стоящей на убежав-

ших в блудную и туманную даль путей, увидела в стороне платформу, вокзал и людей. Однако с этого времени все происходящее стало восприниматься Марией Павловной как-то совершенно по-особенному. Например, когда она вошла в вокзал, где собралось довольно разношерстное общество — вооруженные красноармейцы; крестьяне, нагруженные мешками и узлами; интеллигентные по виду люди — ей почему-то увиделось, что попала она в вертеп. Что собрались здесь подонки всего человечества, потерявшие человеческий облик, разнузданные, развратные, пьяные, предающиеся всевозможным порокам. И что как только она вошла, все сразу обратили на нее внимание, сочли за вражескую лазутчицу и положили расстрелять. О том, что ее хотят расстрелять, она поняла сразу.

После всего случившегося за ночь Мария Павловна и в самом деле выглядела странно, привлекая к себе внимание. А потому, когда она появилась в вокзале и прижалась к стене, глядя кругом себя глазами, в которых проглядывало безумие, к ней подошел земский врач, ожидавший московского поезда, и поинтересовался, как она себя чувствует, не нуждается ли в его помощи. Но Мария Павловна сочла заботливое лицо врача глумливым, вопрос его приняла за намерение вызнать побольше перед окончательным вынесением приговора, а самого врача — за шпиона мужицкой армии. Ей пришло в голову, что нужно бежать, и она бросилась вон из вокзала. По счастью, в это самое время подошел ожидаемый врачом московский поезд.

Мария Павловна забралась в первый же, остановившийся рядом с ней вагон. Но толчею и скопление людей она вновь почему-то приняла за вертеп, заполненный гнусными мужицкими рожами, диким и похотливым народом. А возникшую рядом потасовку из-за вещей и места она приняла за оргию. Тогда она решила выскочить из этого ужасного вагона, но вспомнила про шпиона. К тому же сзади уже наседали и застывшую в проходе Марию Павловну стали толкать. Тут почему-то ей померещилось, что под одной из деревянных лавок — да-да, под тем бойким мужичком — сложена куча угля, и что если она закопается в этот уголь, то уж никакие шпионы ее не достанут. Она бросилась на пол, под визги не успевших опомниться пассажиров разметала мешки и забралась под скамью. Ей что-то кричали, протягивали к ней руки, но она только молча отбивалась, и, наконец, ее оставили в покое...

* * *

Говорили потом, что Мария Павловна Горская совершенно исцелилась в московской клинике. И через пару лет уехала за границу. Еще через год вышла замуж за какого-то барона и, отъевшись на баронских харчах, села писать воспоминания о Русской Революции.

